

ПАМЯТЬ

ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК

ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

МОСКВА — 1976

НЬЮ ЙОРК — 1978

М. Штейнберг

ЭТАП ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

В разделе "Воспоминания" в нашем сборнике будут представлены и устные рассказы, записанные со слов участников или свидетелей прошедших событий.

К такому типу материалов относится "Этап во время войны".

Первое дело М. Штейнберг связано с участием в нелегальном молодежном марксистском кружке в начале 1920-х гг. 18-20-летним членам кружка едва удалось прочесть вместе "Коммунистический манифест" и перейти к "Капиталу", как они были арестованы.

Отсюда начался путь Штейнберг по Архипелагу, длившийся с небольшими перерывами 30 лет. В лагерях погиб ее муж, во время войны был убит немцами отец и расстрелян брат.

Из рассказов Штейнберг мы выбрали для публикации именно этот сюжет, потому что о судьбе заключенных в тюрьмах прифронтовой полосы в 1941 году существует множество слухов и любые сведения по данному поводу имеют особое значение.

Арест 1941 года был для меня полной неожиданностью. Это произошло на третий день после объявления войны. В наш район нагнали тогда много мобилизованных, так много, что их расселяли по частным квартирам. И настроение тех дней было такое, что не только никто не возражал, а наоборот, выходили, просили: "Поставьте ко мне", выносили еду, сколько могли и чем могли помогали.

Когда военные вошли в комнату, я решила, что в нашу квартиру будут ставить мобилизованных. И с кровати кричу папе: "Пусть мама перейдет ко мне в комнату, а ту комнату отдай" (она была больше).

Они смотрят на меня: "О чем вы говорите?" Я спрашиваю: "Вы пришли расставлять мобилизованных?" — "Нет, мы пришли вас арестовать". И кто-то из них вынул ордер. Тогда я поняла все сразу.

Начался обыск. Обыскивать, собственно говоря, было не-

чего. Только книги. Когда ехала к родителям из ссылки, я не взяла ничего хозяйственного. А книги взяла. И до сих пор жалко, что они не уцелели. Была "История России" Соловьева, был полный Плеханов, Каутский. Они брали каждую книжку и внимательно перелистывали. Потом отбрасывали и брали следующую.

Ну, что я чувствовала при этом? Я оставляла двух глубоких стариков — отца и мать — и двоих детей — свою девочку и дочку старшей сестры. Моя сестра была арестована в самом начале 1938 года и уже несколько лет находилась в Жерикском отделении Карлага, муж ее был арестован в последний раз в 1930 году, до 37 года был в Суздале, а в 37-м его перевели в Ярославль, а затем — в Орел, так что в это время он был в Орловской тюрьме. Что я могла чувствовать...

Обыск длился много часов, и я очень устала.

Когда меня уводили, обе девочки — дочь и племянница — вылезли из окна, чтобы проводить меня. Те, которые арестовывали, стали их отгонять. И я сказала старшей: "Сколько я могла, я была тебе матерью, позаботься о моей дочери".

Повторяю, арест этот был для меня полной неожиданностью. Я столько колесила по России, что мне казалось — они давно затеряли мой след. Поэтому, когда они привели меня в местное отделение НКВД, посадили в КПЗ и через два часа вызвали на допрос, когда я увидела на столе у следователя свое дело с 1924 года, с того первого ареста, я была поражена.

Вообще арест 1941 года был очень отличен от всех предыдущих. Буквально с первого момента ареста какое-то грубое, давящее отношение. Все время окрики: "Вас не спрашивают", "Помолчите", "Сидите".

Первый допрос поразил меня еще и тем, что упор был на то, что я еврейка.

— А как зовут вашу сестру?

— Фрида.

— Фрида — это немецкое имя, а не еврейское.

— Почему же, оно широко распространено у евреев.

Допрос этот был очень короткий и очень грубый. Сразу мне предъявили обвинение по 58-10 и вместо пункта 11 — пункт 1-а — измена Родине. Я спросила, почему. — "А вам на следствии расскажут, почему". Через несколько часов меня увезли в Кировоград, наш областной центр.

Везли меня в воронке, но не вместе с другими заключенными, а в боксе. В воронке ведь тоже есть боксы. Машину загнали во двор тюрьмы, но меня не выпустили. В этом боксе я просидела часов 12. Выйти сама, конечно, не могла. Меня вытащили. Т.е. что значит "вытащили" — просто сбросили на землю.

Втолкнули в тюремную прихожую. Это комната, сравнительно большая. По всем стенам сделаны узкие ниши-кабинки, такие неглубокие, что если женщина или мужчина нормальных габаритов, то им надо было стать спиной, чтоб вдвинуться туда. С обеих сторон тебя обжимают стены. Дверь запирали снаружи. Мне пришлось худо из-за тюка, который у меня был с собой. Чемоданы брать с собой не разрешали, только узлы. И еще когда я была в боксе в воронке, мой тюк отправили в автоклав и обильно полили хлороформом. И вот его впахнули ко мне в нишу. Здесь-то и началась мука.

В потолке была дырка для воздуха, размером с пятикопеечную монету. А узел был не маленький. Ведь это был не первый мой арест, и я не знала, на сколько это дней или лет. Но знала, что в Кировограде передачу мне принести никто не сможет. Поэтому я взяла телогрейку, пару платяев, смену белья. Получился довольно объемистый тюк.

И вот через полчаса сиденья или стояния на нем — не знаю, как это правильно назвать, потому что когда уставала, то, естественно, стремилась сесть, но колени сразу упирались в дверь и снова приходилось приподниматься, — через полчаса было ощущение, как будто горло раздирают на части. Я начала задыхаться...

В этом боксе меня продержали сутки. Когда открыли дверь, я из него выпала. Была в сознании или нет — не помню. Пришла в себя, потому что меня толкали. Или били сапогами — не знаю.

Потом — баня. Опять мой узел попал в новый автоклав. Опять он пропитался новой порцией хлороформа. После этого меня отвели в камеру.

В этой одиночке я была первая. В одиночке этой не просто не было мебели — койки или подъемной койки, там ничего не было. Стены, цементный пол, задренное окно, сводчатый

потолок, параша. Свет горел круглые сутки, лампочка была забрана густой железной сеткой — это чтоб не могли использовать стекло для самоубийства.

Бросила я этот узел, легла на цементный пол. Хоть в этом мне никто не помешал. Одна я просидела в одиночке несколько часов.

Кировоградская тюрьма сравнительно небольшая, но то количество з/к, которое туда напихали в первые дни войны, совершенно ни с чем нельзя сравнить. Тюрьма была четырехэтажная, рассчитанная примерно на две тысячи человек, а поместили туда, наверное, тысяч 10-12.

Камера имела в длину три хороших шага, т.е. два метра, в ширину — столько же, и туда, в течение первых же суток, напихали 14 человек. Может, там было не 4 метра, а 4 с половиной, ну, может быть, 5, но ни в коем случае не больше. Потому что даже по моему представлению об одиночках она была очень мала. И таких однотипных одиночек был длинный коридор. Не то что лечь — сесть было негде. Можете себе представить, что делалось в этой камере! Сиделись мы просто: одна широко раздвигала ноги, вторая вдвигалась в нее, третья — во вторую и т.д. Иначе невозможно было. И тут уж никто не мог проявлять никакой брезгливости. Что, мол, пришла какая-то женщина, не очень чистоплотная, и тебе неприятно с ней рядом сидеть. — Об этом там и разговору не было.

Кормили тогда в Кировоградской тюрьме как нигде. Вырезали скот (фронт приближался, и вырезали скот, который нельзя было оставлять), поэтому нам все время приносили огромные чашки мяса. Пусть это было не мясо, а отходы, все равно это было очень сытно. Много было мяса.

Видимо, в те дни администрация тоже была растеряна, потому что ни в тот день, ни в последующие нас совсем не трогали. Никто не говорил "сидеть", или "стоять", или "не спать".

Кто был в камере? Людей, которые имели бы какое-нибудь отношение к партиям, которые могли бы связать две политические фразы, — таких людей там не было. В огромном своем большинстве это были дела, которые в лагере называются "сказала". "Ты сказала, что немецкая армия сильная", или "ты сказала, что у немецкой армии хорошая техника", или "ты сказала, что у нас недород", или "ты сказала, что

мы в колхозах работаем, как рабы, что нам не платят" — это все основание 58-й статьи. В основном, это были простые женщины, крестьянки. Была там, правда, одна учительница, с которой свела счеты другая учительница. Т.е. не свела счеты, а хотела стать вместо нее завучем. Так вот, она якобы восхваляла метод обучения в какой-то стране, какой — не помню, и это тоже был подрыв советской власти.

Меня поражала детская нелепость этих обвинений. ... Самая молодая в камере была Ира Ветчинкина. Ей тогда было 32 года. О ней я еще расскажу.

В Кировограде следствие велось очень странно. Почти каждый раз, когда вызывали на допрос, следователь оказывался другой, не тот, что в предыдущий раз. Куда девался тот — не знаю. Это уже были не профессиональные следователи. Профессиональным был, пожалуй, только первый. И страшным был тот единственный допрос, который проводил он. Длинная комната. На фоне завешенного окна стол следователя. У входа привинченный стол, за который меня усадили. Между мной и следователем было довольно большое расстояние, так что лицо его я в полутьме очень неясно различала. Но я увидела, что он открыл свой письменный стол, вытащил часы, обыкновенное канцелярское шило и револьвер. Начал он в очень резком тоне:

— Так будем говорить?

Я говорю: "Я пока еще не знаю, в чем меня обвиняют, и о чем я должна говорить, и с кем я говорю. В чем новом меня могут обвинить?"

— Ах, так вы не знаете, в чем вас могут обвинить?

— Нет, не знаю.

Тут и выполз этот пункт 1-а. Он мне стал доказывать, что контрреволюционная агитация — это и есть измена родине. Я говорю: "Ну, все-таки 58-я статья не обязательно предполагает совпадение пунктов 1-а и 10, даже если это и так."

Допрос был резким и грубым. Следователь говорил, что Фрида — это немецкое имя, говорил: "Вы только и ждете, чтобы пришли немцы".

— Еще бы, — говорю, — очень жду. Именно к нам немцы особенно благоволят. Если они, куда ни приходят, в первую очередь расстреливают евреев, то мне ничего больше не остается, как ждать.

Дальше началось такое: профессиональных следователей больше не было. Это уже были следователи из военных частей. Случайные, иногда даже малограмотные.

Обвинение сводилось к тому, что раз я была раньше репрессирована, то я уже не могу быть довольной советской властью. Я говорю: "Предположим, я не могу быть довольной советской властью, но вы все-таки мне докажите, покажите, расскажите, где я это свое недовольство высказывала. Судить меня за то, что у меня внутри, вы не можете. Вы должны все-таки показать, что именно я сделала, чтобы у вас были какие-то основания меня за что-то судить или в чем-то обвинять".

Таких допросов было несколько.

В конце концов я подписала 206-ю статью об окончании следствия. Мне предъявили обвинение по пунктам 1-а и 10 58-й статьи. На обороте этой бумаги мне велели написать, почему я не расписываюсь на ней. Я написала, что закон обратной силы не имеет, что меня не могут судить за то, за что я уже отсидела.

В Кировограде на допросах не били. До 37-го года я про битые не слышала. Т.е. еще в 28-м году, когда я встретила на пересылке грузинскую меньшевичку Вачнадзе, я слышала, что там, в Грузии, били, но в России я не встречала и не видела никаких случаев битья. Все дело в том, что именно в 37-м я не сидела. А в 41-м, за все то время, что меня допрашивали, никто меня пальцем не тронул.

Одну женщину я видела очень избитой. Эту женщину обвиняли в шпионаже и, судя по всему, не без оснований. Что-то там было. Она мне рассказала до допросов, что три ее брата уехали еще с белыми и живут во Франции и в Германии. Что они все время посылали ей деньги, но это были не почтовые переводы, а просто купюры, их посылали с оказией. Иногда ей задавали какие-то вопросы. И у меня сложилось впечатление, хоть я и не следователь, что какие-то основания для обвинения ее в шпионаже были.

Избивали ее не в первые допросы. В этапе ее с нами не было. После одного из допросов она не вернулась. Была она учительницей.

* * *

... Маленький сучок выпал из оконного щита. Этот сучок был в половину однокопеечной монеты, чуть больше обычной иголки. Обзор в этот зрачок был небольшой. И с первых же дней я стала в него смотреть. Часто мне удавалось видеть этапы и даже их подсчитать. Я считала, сколько з/к стоит в ряду и сколько рядов. Я видела, что за этими этапами следовали максимум две подводы. На них сидели те, кто с протезами, кто безногие, то есть такие, кого иначе чем на подводах транспортировать было невозможно. Этапы эти были по 700-800 человек. И они уходили каждый день. А взамен из районов волокли новых и новых людей. И так было до самого последнего дня.

Настроение у всех в камере было ужасное. Просто ужасное. В тот же самый крохотный "волчок" каждый день, буквально каждый день, мы видели, что двор заполняется заключенными, что во дворе стоит стол, покрытый красной скатертью, что за этим столом иногда сидит пять человек, иногда трое, что гора дел на этом столе, и одного за другим к нему вызывают...

Два вопроса, только два вопроса, два-три слова. Суд длился ровно две минуты. Тут же говорили: "Расстрел". Т.е. все, кого выводили во двор, уже не возвращались в свои камеры. Их сразу отводили в смертный корпус. Причем в корпусе этом держали их не 24 часа, а расстреливали гораздо быстрее.

Мы видели все и слышали: обвинения были такие ничтожные, такие никчемные, что не только не было никакой гарантии, что ты сама не получишь такой же приговор, — скорее наоборот.

Когда нас выводили на прогулку, то среди конвоиров был один, который, явно, расстреливал. У него лицо было такое. Уверена, что он расстреливал.

Во дворе были высокие каменные стены, и в них такие маленькие дырочки — на уровне человеческого роста. Откуда взяли такие дырочки? Конечно, это следы пуль.

К моменту отправления нас на этап Кировоградская тюрьма почти очистилась. Остался тот последний этап, с которым администрация не знала, как поступить. Такое у меня впечатление. То ли просто расстрелять, то ли — отправить в тыл. Все, кто остался в этом последнем этапе, не имели приговоров.

31 июля вечером вывели нас во двор. Причем уже никого не вызывали по фамилиям. Просто открывали двери камер: "Выходи, все с вещами." Вывели уже не на обычный прогулочный, а на какой-то большой, входной двор. Я пыталась тогда же подсчитать, сколько людей идет со мной, но не смогла. Конвой зверствовал: нас поставили на колени, потом посадили. Ни оборачиваться, ни разговаривать — ничего не давали. Я сидела где-то в пятом или шестом ряду и не могла сосчитать, сколько рядов за мной и сколько человек в каждом ряду. За мной было, наверное, рядов двадцать. Потом я пыталась сделать то же на этапе — и опять не смогла: этап растянулся на очень большое расстояние. Это была большая колонна. Для чего я пыталась сосчитать, сколько людей в этапе? — Просто было интересно, сколько идет со мной людей.

Итак, нас вывели во двор. У каждого конвоира на поводке были одна или две овчарки, которых с трудом сдерживали. И весь этап плотно сбивался, чтобы овчарки не смогли достать. Страшно было, и каждый старался стать в середину. Вышел начальник тюрьмы (или конвоя), и не с одним револьвером, а с двумя — что для нас было необычно. Почему это произвело на нас такое устрашающее впечатление — трудно сказать.

В это время из смертного корпуса вывели приговоренных к смерти, 14 человек. Кто были эти 14 человек, я не знаю. Могу только сказать о женщинах. В основном, это были осужденные по религиозным делам. Их обвиняли в том, будто они говорили, что видели какие-то огненные буквы. Словом, чушь, о которой даже говорить не приходится. А про приговоренных к расстрелу мужчин я не знаю, ничего не знаю.

Прошло каких-то полтора часа, только-только собрали этап, только-только собирались его вывести — и началась страшная бомбежка. Огромный угол тюрьмы рассыпался, как спичечный коробок. Даже представить было трудно, что тюрьма такая непрочная, может так быстро и легко развалиться. Стены падали плашмя. Вот тут-то конвой себя и показал. Стали загонять в подвалы. Прикладами, собаками. — "Быстреей!" Обычная дверь. Все около нее сбились. Такой непробиваемый затор стоял, а они сзади напирают, вталкивают. Впихнули всех в этот подвал — ужасно это было, конечно. Впихнули всех вместе.

И смертников и нас. Невозможно было ни двинуться, ни увидеть что-нибудь. И потом — страшно. Мы же видели, как один угол тюрьмы грохнулся, мог и второй грохнуться так же хорошо.

Наконец бомбежка кончилась. И утром первого августа нас снова вывели во двор. Опять вышел тот же начальник тюрьмы. Все затихли. Трудно себе представить, что может быть такая тишина, когда стоят 800-900 человек. Мне кажется, что одно дыхание производит какой-то шум, что не может быть такой тишины. И все-таки она была.

Из больницы вывели во двор очень тяжелого астматика, который дышал, как меха. Начальник тюрьмы подошел к этому астматику: "Вас сейчас пристрелить или потом?" Тот смотрит снизу вверх, как будто решается вопрос о какой-то ерунде, как будто до него не доходит, что вопрос стоит о его жизни.

Потом начальник обернулся к этапу и сказал: "Транспорта у нас нет. Дойдет тот, кто дойдет. Протезы — не протезы, все будут идти. Того, кто идти не сможет, — пристрелим. Мы немцам никого не оставим. Так что учтите: вы — хозяева своей жизни. Пока — вы."

Нас вывели из Кировограда часов в 10 утра 1 августа. А в два часа дня в Кировограде уже были немцы. Немцы не спешили. Они занимали очередной город и сколько-то дней наводили свои порядки. А в те дни, когда они двигались, они двигались молниеносно. Были ли позади нас какие-нибудь советские войска — я не знаю. Пальбу мы слышали, но никакие отступающие советские части нас не перегоняли. Правда, шли мы очень быстро.

Все было ослепительно залито солнцем. В полдень оно стало невыносимым. Ведь это Украина, август месяц. Было примерно 35° жары. Шло огромное количество людей, и над этой толпой стояло марево пыли, марево. Дышать было не просто нечем, дышать было невозможно. Все шли, сбившись в плотную. Так как на совсем небольшом расстоянии друг от друга шли конвоиры и у каждого на поводке овчарка, то помимо воли, независимо от сознания, что этим подставляешь под овчарку кого-то другого, каждый стремился в середину колонны. Каждый. Но мешал конвой. Все время оклики: "Не менять мест! Не меняться!"

В руках у каждого был узел. Несла и я свой. Взяла с собой даже телогрейку. Без телогрейки очень трудно прожить заключенному. Это и подушка, и подстилка, и укрытие — всё. Ведь в подавляющем большинстве тюрем нет ни коек, ни матрацев, ни белья.

Но когда мы по этой жаре прошли 30 километров, я свой узел тихонько положила на обочину. Ничего себе не оставила, ни ниточки. Поняла, что мне уже ничего не донести. Так же поступило огромное большинство женщин. Но те, кто не бросил свои узлы после первых 30 км, бросили их после 130 км. До места никто ничего не донес.

Когда прошли еще 20 км, я сняла туфли и бросила их. Пошла босиком. Я родилась и выросла на Украине и привыкла ходить босиком. Босиком приятно, легко ходить. Но когда идешь босиком по скошенной стерне...

Когда идешь по стерне, поджимаешь пальцы ног. Но это замедляет шаг. А нас все время торопили, не всегда удавалось поджимать пальцы, и к сотому километру у меня уже ногти начали сползать на ногах.

Иногда конвой проявлял к нам если не человечность, то какую-то терпимость, что ли. Когда мы проходили огородами (шли мимо сел), там — как обычно для украинских огородов — были воткнуты палки поперек. Эти палки ничем не прикреплены. И вот нам разрешали вытаскивать такие палки и брать их для опоры. Кто брал одну палку, кто — две. И у меня на руке — во всю правую ладонь — был огромный волдырь. Он прорвался, и образовалась рана...

Уже на второй день пути я разорвала свое черное шерстяное платье пополам и подвязалась им, как юбкой. Конвой — так конвой, мужчины — так мужчины, меня это уже не трогало. Никого это не трогало, ни их, ни нас.

... После Аджамки я 30 километров тянула за собой мою сокамерницу Соколовскую. Это была старая женщина, лет под семьдесят, совершенно седая, ярко выраженного еврейского типа. Она была рафинированной интеллигенткой. Она приходилась родной сестрой первой жене Троцкого. Только поэтому ее и посадили *.

* Автор ошибается: шедшая с нею в этапе Берта Ильинична Соколовская была арестована, вероятно, из-за своего мужа, бывшего братом первой жены Л.Д. Троцкого — Натальи Львовны (см. ниже).

Ей было очень трудно идти. Она цеплялась за меня и все говорила про свою 15-летнюю внучку, с которой жила. Последним страхом в жизни Соколовской был страх, что эту внучку тоже возьмут. Мне было тяжело тащить ее за собой, и я сама стала падать. Она говорит: "Ну, отдохни немного, я пойду одна". И тут же отстала на два метра. Мы шли последними. Когда я почувствовала, что она отстала, я обернулась, хотела взять ее — и увидела, как ее убили. Ее закололи штыком. Со спины. Она не видела. Но, видно, хорошо закололи. Она даже не шелохнулась. После я думала, что она умерла более легкой смертью, чем все остальные. Она не видела этого штыка. Она не успела испугаться.

... Была у нас в камере одна женщина. Фамилии ее я не помню. Вид ее вещей сразу поставил ее в какое-то особое положение. Мы все были одеты очень скромно. У нее же были дорогие вещи: коверкотовое пальто, костюм из настоящей чесучи, медальон, кольца. В такой провинции, как Кировоград, это не так уж часто встречается. Муж ее работал на КВЖД. У них с мужем было двое сыновей. Старшему было 19 лет, младшему — 15. В Китае, она, естественно, не работала, растила этих мальчиков. Они учились в русской школе при КВЖД. Она описывала, как их встречали — с оркестром, цветами, музыкой. Это было очень торжественно, и они были очень рады, что вернулись в Россию. Привезли они очень много вещей — 12 китайских плетеных корзин. Кроме того, она забрала с собой и мебель, и столовое серебро, и посуду и т.п. Прошло очень немного времени, и был арестован и расстрелян ее муж. Ей не дали с ним свидания, и он не успел даже прислать записку. Потом был арестован старший сын и тоже расстрелян. Потом арестовали младшего. К этому времени ему, наверное, уже исполнилось 16. Этот мальчик оторвал лоскут от своей рубашки и написал кровью какой-то палочкой на этом лоскуте записку. Эту записку зашил в одежду другой заключенный, который вышел из тюрьмы. Сын писал в этой записке, как его терзают, как его мучают, заставляют подтвердить, что расстрелянные отец и брат были шпионами, а он — связным.

Мать не додумалась ни до чего другого, как поехать в Москву, и там написала письмо Вышинскому и вложила в конверт записку мальчика. В результате был арестован тот, кто принес матери эту записку, и — расстрелян. Расстреляли и самого мальчика.

Так эта женщина потеряла всю свою семью.

... На этапе, когда мы уже дошли до Аджамки или Верблючки — это два села между Кировоградом и Александрией, — нам в первый раз за два дня давали кашу. Там колхоз в огромных котлах варил кашу. Но взять эту кашу нам было не во что. Я прошу прощения за ненужную подробность, но — чтобы вы имели представление. У этой женщины, про которую я только что рассказала, и у меня был большой номер бюстгальтера. И вот мы все решили взять эту кашу в два бюстгальтера — мой и ее. Потому что у остальных женщин были маленькие номера. Посуды ни у кого никакой не было, и горячую кашу хоть в руки бери, хоть как, а все были голодные. И нас всех поразило, что, когда я подошла к этой женщине и сказала, что мы хотим взять кашу в ее бюстгальтер, она ответила, что нет, бюстгальтер она не может дать. — "Почему?" — "Мне он нужен."

Ну, настаивать никто не стал. Но ни у кого больше ничего не было. Поэтому со мной пошла другая женщина и набрала каши в подол.

Когда мы вернулись и стали думать, как эту кашу разделить, как есть, то кавежединка от каши отказалась: "Я не хочу".

Нас это поразило — мы двое суток шли не евши. И были очень голодны. "Ну, не хочешь, так не хочешь". Женщина, которая несла в подоле кашу, села, мы уселись вокруг нее и стали есть прямо из подола. Как скоты. Сначала ели из подола, потом — из моего бюстгальтера. Потом я этот бюстгальтер так и надела — невымытым. ... Все было, и мимо этого пройти нельзя.

А ночью я спала рядом с этой кавежединкой. Спали мы в колхозной конюшне. Легли на полу, потому что в яслях конвой не разрешил лечь, и она повесила свой бюстгальтер, который не дала нам под кашу, на жердь, прибитую к яслям.

Бывает так, что становишься без вины виноватым. Я проснулась от совершенно невероятного, неестественного храпа. Рука моя как-то упала на ее лицо, на рот — рот ее был широко открыт, а язык вываливался. Я закричала. Не могу себе про-

стить, что не дала ей умереть, — зачем нужно было ей вытерпеть муку этого страшного этапа.

Она уже потеряла сознание. Когда я закричала, прибежал конвой, ее вытащили из конюшни, били, мяли ее, делали искусственное дыхание, словом, ее оживили.

На каждом этапе, на каждом, она не забывала мне напомнить: "Этого вы хотели? Этого?" Она прошла весь этап. Дошла. Дошла, чтобы умереть в Усть-Каменогорске от пеллагры.

... Первые 50 км я шла с Ирой Ветчинкиной. Я уже говорила, что она была самая молодая в нашей камере. Пришла она в камеру последней, и как только ее втолкнули и за ней захлопнулась дверь, она подскочила к ней и забарабанила в дверь руками. Мы ее еле оттащили. Она рассказала, что жила на племенной ферме в Александровке под Кировоградом. Как-то вечером она выкупала свою четырехлетнюю дочку, выкупалась сама, и они обе легли голыми — было очень жарко — спать. И вдруг — страшный стук в дверь. Ира ничего не могла сообразить со сна, побежала открывать, а по дороге набросила на голое тело висевшую на спинке кровати одежду санитарки — юбку из грубой диагонали и телогрейку. У самой двери стояла машина, и прежде, чем Ира успела опомниться, ее втолкнули в машину, и на ее глазах дверь фермы опечатали. И там осталась ее четырехлетняя девочка. Можно представить, что творилось с Ирой.

На ней были юбка и телогрейка санитарки. Больше ничего у нее не было: ни рубашки, ни бюстгальтера. Мы во дворе разыскали стеклышко, и из моей наволочки скроили ей рубашку. Кроили рубашку так, чтобы она одновременно могла служить и блузкой, и рубашкой. Наволочка была с папиной подушки, большая, так что рубашка из нее вышла. Прошло какое-то время. Ира страшно мучилась из-за своей этой юбки, ей казалось, что юбка пахнет конюшной. Тогда я отдала ей свое летнее платье. В нем она и ходила. В нем и ушла на расстрел.

Мы сблизились с Ирой. Много говорили с ней о литературе. Какого бы автора я ни называла, она читала его в оригинале. Говорили про Роллана — она читала его по-французски, про Диккенса — читала по-английски. Я заговорила про Сенкевича — она и его читала по-польски. Я спросила: "Ира, сколько языков вы знаете?" Она говорит: "Знаю основательно четы-

ре, а на остальных легко читаю без словаря". Тогда я ее спросила, кто ее отец, в какой семье она воспитывалась. Она на минуту замялась, потом сказала, что ее отец — шофер. Ну, я не поверила, конечно. "Вы, — говорю, — можете мне ничего не рассказывать, но трудно представить, чтобы в России дети шофера знали несколько языков". На том разговор и закончился.

Но чем больше мы разговаривали о литературе, тем больше я поражалась ее эрудиции. Мне казалось, что если я проживу еще столько же, то и тогда не буду знать столько, сколько Ира. Она замечательно разбиралась в художественных школах, художественных течениях. И она так просто обо всем этом говорила, без напряжения, без всякой рисовки.

В камере у нас была одна портниха по имени Таня. Я как-то задремала и проснулась от ее смеха. Она говорит: "Вот вы тут все о литературе говорили, об искусстве. А вот я первая узнала, что Ира — не Ветчинкина, а Голицына". — "Как?" — "А вот так". И тогда Ира мне рассказала, что есть две ветви князей Голицыных, что действительно она — последняя из княжон. Когда я спросила ее, как ей удалось закончить институт, имея такое происхождение, она рассказала, что ей удалось устроить фиктивный брак. Что этот Ветчинкин, который согласился зарегистрировать с ней брак, — не отец ее ребенка. Отец ее ребенка — другой человек.

Она всегда жила в Москве. И работала зоотехником московского ипподрома. Окончила два института — зоотехнический и ветеринарный. Ездил с нашим ипподромом за границу и вернулась — как ни странно — домой. А потом так сложились у нее личные обстоятельства, что ей удобнее было уехать в Александровку под Кировоградом на работу на племенной ферме. Там-то ее и арестовали.

Когда я ее спросила, по какой статье ее осудили, она сказала, что по 58-10 и еще по каким-то пунктам: не то 1, не то 7, она не помнит. Вызвали ее на допрос только один раз. И через три дня принесли в камеру обвинительное заключение. Когда я прочла это обвинительное заключение, я была потрясена. Я спросила: "Ира, говорили они с тобой про то, что ты — княжна Голицына?" Она говорит, что нет. "А о чем же тебя спрашивали?" — "Мне сказали, что вот такая-то говорила, что вы

хвалили японский сервис. Что у них какие-то особенные вагоны, и по дороге в окна бросают пакеты с едой и с чем-то еще. Что у них это все хорошо организовано и налажено. А у наших, мол, нет такого."

Мне это обвинение показалось таким пустяковым, такой ерундой. Там было сказано, что она — дочь тамбовского дворянина, никакого упоминания о Голицыных. Ни слова о том, что она — Голицына, ни слова о том, что она — княжна, ни слова о том, что она с ипподромом ездила за границу, что она там встречалась со своей матерью.

Ее мать уехала из России в самом начале революции. И очень уговаривала Иру остаться с ней за границей, но она не согласилась. Она особенно не объясняла, почему она не осталась. Я думаю, что из-за какой-нибудь любви.

Когда я прочла Ирино обвинительное заключение, я была уверена, что больше года ей не дадут. Там ничего не было, никакого криминала. Я, конечно, знала и видела, что для того, чтобы расстрелять, и не требуется никакого криминала, но все-таки здесь уж совсем ничего не было, такая ерунда, такой пустяк.

И мы все в камере просили Иру заучить наши адреса, чтобы она на воле дала знать о нас нашим родным и т. д. Все она обещала, все заучивала. Каждый раз мы ее спрашивали, помнит ли она наши адреса. Она все запоминала.

28-го июля Иру вызвали на суд. С суда есть три пути. Всегда — во всех тюрьмах и при любых обстоятельствах. Если срок, то человек возвращается в ту же камеру, из которой он ушел. Если воля, то он не возвращается. Если смертный приговор, то он тоже не возвращается. Ира не вернулась в камеру. И мы все были твердо уверены, что она — на воле.

Через три дня, 31-го июля, вывели всех во двор тюрьмы. Началась страшная бомбежка, и нас загнали в подвалы. Утром нас снова вывели. И тогда вывели всех — и из лазарета, и из смертной камеры. И среди тех 14 человек, которых вывели с приговором "расстрел", оказалась Ира.

Первую ночь этапа мы провели с ней вместе, в яслях, в которых кормят коров. Она не смыкала глаз всю ночь. Я уговаривала ее: "Ну, пойми, ну, какой смысл был им таскать тебя за 50 км, если ты приговор получила еще 28-го числа, три

дня назад. Для чего им держать тебя лишние трое суток?! Если бы хотели расстрелять, то уже расстреляли бы." И я не просто уговаривала Иру, я и сама в это верила. Неужели им нужно было таскать человека, обреченного на смерть, еще эти 50 км?! Для чего им это было нужно? Тем более, я видела, что остальных приговоренных к смерти во дворе Кировоградской тюрьмы не держали и 24-х часов. Зачем нужна была эта лишняя пытка? Но мои слова, кажется, не доходили до Иры. Ее мысли были только о дочке. Она все говорила мне: "Я верю, что если бы ты освободилась, ты бы поехала, забрала мою девочку..." Я бы, конечно, поехала. Я бы, конечно, забрала. Но я нигде не поехала; не только о судьбе ее ребенка, я и о судьбе собственной дочери ничего не знала...

Наутро из "женского отделения" колхозной конюшни (женщины лежали в одной стороне, мужчины – в другой) вызвали Иру. Я не могла смотреть на Ирино лицо, когда ее вызвали. Я только видела, как она отрывает от земли ноги – как будто они налиты свинцом. Но через несколько шагов она пошла спокойно. Обернулась. Помахала мне рукой – "Прощай".

Подъехали две машины, и, прежде чем посадить на них 14 вызванных заключенных, конвоиры бросили на машины по три лопаты и по огромному брезенту...

Как их расстреливали, мы слышали ясно. И видели, как конвой, который повез их расстреливать, нагнал наш этап. Мы это видели.

... В 1946 году, после освобождения, я специально вернулась в Александровку. Хотела выяснить судьбу Ириной девочки. Но я ее не нашла.

* * *

... Рядом со мной в колонне шла баба Шулешка. Она тоже была из нашей камеры. Ее все только так и звали: баба Шулешка. У нее был впалый рот, и торчал один-единственный зуб. Она рассказывала, что, когда ей было тридцать лет, она и понятия не имела, что женщины должны носить бюстгальтер. Зато у нее были сапоги, которые скрипели так, что на другой стороне улицы было слышно. Эта старуха ни разу в жизни не видела поезда, никогда не выезжала из своей трехкопеечной

Верблюжки. Бабу Шулешку посадили по доносу ее невестки. Та просто не хотела, чтобы свекровь жила с ней, и написала, что баба Шулешка ждет Гитлера, или еще что-то в этом роде. Если бы она написала это, скажем, тремя месяцами раньше, то это бы проверили. А тогда, в войну, уже никто ничего не выяснял и не проверял. Просто брали и давали 58-ю статью. У бабы Шулешки была статья – шпионаж. А она и слова такого не знала. Подписывала она абсолютно все. – "А мини шо? А шо у мини такого? А нехай!"

Баба Шулешка прошла весь этап и умерла в Усть-Каменогорской тюрьме.

Из того же контингента крестьянок, которых сажали по 58-й статье по чему-нибудь доносу, были и сестры Сельдерей – Ольга и Маруся. Их посадили из-за какой-то нелепой, пустяковой истории. Ведь все эти доносы основывались на ссорах, сплетнях, спорах. Например, возникал спор, кому принадлежит арбуз – вот растет он у забора, перевьется через этот забор – чей он? Вот из-за подобных вещей и ругались, и одна писала, что другая, мол, Гитлера ждет и т. д. И этого было вполне достаточно, чтобы получить 58-ю статью.

Я все-таки думаю, что люди, которые так вот бессмысленно губили друг друга, не представляли себе всей полноты своих преступлений. Я не могу представить, чтобы одна женщина сознательно послала другую на смерть из-за такого пустяка, как там арбуз, тыква, огород.

Маруся Сельдерей была крепче сестры, а Ольга очень тяжело переживала этап и тюрьму. И, как и бабка Шулешка, тоже умерла в Усть-Каменогорской тюрьме.

... Немцы проходили на своих мотоциклах в день по сотне километров, мы же при большом напряжении проходили по 40-50. И когда немцы нас настигали, когда они были уже совсем близко, нас заставляли бежать. Конвойные тоже бежали, но по обочине, в кукурузе. Они менялись каждые полчаса или каждый час; одни отдыхали на машине, а другие бежали со своими овчарками. Они бежали в кукурузе, чтобы их не было видно, чтобы их не убили. Когда бомбили, нас с дороги не снимали, просто окрик: "Ложись!" Мы ложились на дорогу. Но я не помню ни одного случая, чтобы в этап попала бомба.

Весь этап прошла со мной Маруся Кацамай.

Марусю привезли в Кировоградскую тюрьму, когда вся тюрь-

ма была, по существу, эвакуирована. Остался тот последний этап, который администрация, вероятно, не решалась полностью уничтожить. Маруся приехала с ребенком. Ребенка этого она родила в 36 лет. Косы у нее были длинные, толстые, цвета льна — такого с желтизной, с золотом. Она очень высоко голову держала — косы оттягивали. И глаза ее были такой голубизны! — как будто вы в небо глядели.

Я разговорилась с ней и очень удивилась: деревенская женщина, а прекрасно знает Толстого, Достоевского... Полуграмотная женщина, а столько читала! А ее отношение, ее понимание, ее ум...

Когда ее привезли в Кировоградскую тюрьму, администрация не знала, что с ней делать. Она с ребенком — как ее взять? Был июль. Жара невыносимая. Ей велели подождать и оставили у ворот тюрьмы, без конвоиров. И она сидела и ждала. А ребенка положила на колени, покачала, и он уснул. Тут тихонько открылась дверь тюрьмы, и ребенка рывком схватили. И, прежде чем она успела вскочить, этот ребенок был за запертой дверью у конвоира. И билась Маруся головой об эти железные ворота, билась часами. Женщина, которая родит первенца в 36 лет, — это волчица. Мало сказать, волчица — все доводы разума умирают. Я как-то начала утешать ее, что, когда мы вернемся, я помогу ей найти ребенка. В то, что мы вернемся, я сама не верила — я слишком много видела, слишком много страшного было — не верила, но уверяла в этом Марусю. Говорила, что вернемся, и я через город, через все учреждения найду ее ребенка. Ей так хотелось в это поверить! И она с таким чувством мне говорила: "Да у меня же сад, у меня же яблоки, как два кулака, да я ж вам и мед, да я ж вам..."

Весь этап она прошла. И умерла у меня на руках в этой Усть-Каменогорской тюрьме.

Поздно вечером нас привели в Александрию. Ночевали мы в колхозной конюшне. А утром, часов в 5, нас начали выводить и строить. У конвоя это занимало очень много времени — пока всех построит в колонну, пока выведут овчарок, пока установят свои пулеметы, пересчитают всех...

Конечно, в этапе было много возможностей для побега, сколько угодно возможностей, но куда бежать, если немцы близко? Кто бы помог мне, еврейке? Никто не бежал из колон-

ны. Позже было 2 случая побегов — уже из вагонов. Расстреляли тут же, на месте.

В некоторые дни, когда нас немцы совсем нагоняли, мы шли, почти не отдыхая. Был такой день — я очень хорошо его помню — когда мы вышли в 5 утра, а отдых был только на следующий день в 7 утра. Мы шли сутки и прошли 70 километров.

Я себе задаю иногда вопрос, есть ли у человека порог боли или порог усталости. Наверное, нет. Наверное, все-таки нет, если можно пройти 70 км и через полчаса подняться по крику: "Подъем!", когда кажется, что пусть поставят перед тобой 15 пулеметов — все равно не встану. И все-таки встаешь и идешь дальше. В дороге, кстати, умирали немногие. Очень много людей погибло потом, когда уже не надо было идти, когда уже не надо было торопиться, когда нас погрузили в вагоны. Вот тогда на каждой остановке открывали вагоны и вытаскивали умерших. А в дороге, пока шли, почти никто не умер. Во всяком случае, из женщин, кажется, никто.

В нашей колонне, первый слева в моем ряду, шел один мужчина, не помню его фамилии. Он был главным инженером крупного завода сельскохозяйственных машин. Мне очень трудно рассказать про него, это невозможно рассказать — это надо видеть. Он все время шел рядом. Он был одет в спецовку. Это был человек не крупный, не толстый и, видимо, не очень крепкий. Выбился он из сил очень быстро. На первых же переходах он уже не хотел есть. Это первый тяжелый признак, когда человек, прошедший 50 км, не хочет есть. По дороге мы все время разговаривали с ним — о литературе, о прочитанном. Меня поразило разнообразие его интересов, очень тонкое понимание литературных школ, очень тонкая оценка писателей в их нарочито, что ли, отношении к советской власти, в их искренности. Когда я тащила за собой Соколовскую, он помогал мне, и мы втроем шли рука об руку.

Я даже не могу вспомнить, как, почему он оторвался от меня. Я как-то не заметила этого, но следующее мгновение меня настолько потрясло... Это произошло после Александрии за Красной Каменкой, на четвертом или пятом дне нашего пути. Шли проливные дожди, грунтовые дороги страшно размыло, было ужасно много грязи и идти очень тяжело, а нас все гнали и гнали... По гулу машины, которая шла где-то сзади, я поня-

ла, что это большая машина. Я не могу решить, намеренно ли он бросился под машину или поскользнулся. Думаю, что бросился сам. Под машиной был какой-то крюк, и этот крюк зацепил его за оторванный хлястик на куртке. Его несколько раз перевернуло под машиной, и я видела сама, как колеса прошили по этому человеку, — сама видела. И самое поразительное — он остался жив! Машина проехала, не останавливаясь. Конвой ее не задерживал. Этап остановился только на такое время, которое потребовалось, чтобы подогнать подвод, ехавшую за колонной. Ведь колонна растянулась так, что те, кто шли в ее начале, не видели последних рядов. Когда подогнали подвод, подошли двое конвоиров: один взял моего попутчика за плечи, другой — за ноги, раз-раз раскачали и бросили его на подвод. Я слышала стук головы о заднюю перекладину. Я не видела, остался ли он в сознании, но во всяком случае вечером он еще был жив. На следующий день, когда нам дали хлеб, я взяла кусок, зачерпнула в консервную банку воды, которую нам тоже дали, и подошла к подводе: он был жив. Он даже узнал меня. Я подняла его голову, напоила, попыталась всунуть кусочек хлеба — ему уже не хотелось есть.

Запоминается, наверное, не главное, но почему-то я лучше всего запомнила этот звук головы о перекладину, глухой такой звук. Мне казалось, что он долго-долго звучал, долго затихал...

Вечером его на подводе уже не было. Они не хоронили тех, кого сбрасывали по дороге. Крестьяне находили эти трупы и закапывали где-то.

Да, я могу повторить, что в нашем этапе, в основном, погибали мужчины. Помню еще одного из них, Седого. Он был до революции редактором газеты "Одесские новости". Когда его взяли, ему было уже далеко за семьдесят — он был глубокий старик. И меня поразило, с какой заботой относилась к нему молодежь. Его все время поддерживали под руки, вели по двое. Вели эстонцы, латыши... То ли это были сокамерники, то ли нет — мне трудно сказать, какое это было знакомство. Я не могла выйти из рядов, чтобы с ним познакомиться, но я знала, что это — Седой. Я его все время видела.

... Его добили, когда выбилась из сил молодежь, когда никто

не мог тащить никого и ничего*.

А мы все шли. Конвой нас подбадривал: "Ну, немножко, ну, вот еще немножко. Вот дойдем до Днепропетровска, и больше не будем идти пешком". Но в Днепропетровске не было никакого транспорта, чтобы нас грузить. Все эвакуировались, все было занято, все было переполнено.

И нам сказали, что надо пройти еще до Павлодара — это 140-150 км от Днепропетровска. И мы пошли. Немцы нас уже не догоняли. Да мы и не могли делать ни 70, ни 50 км в день. Мы и 30 не могли пройти. У меня такое впечатление, что эти последние 30 км мы шли неделю. И конвой чуть подобрел: бери сколько хочешь палок. Но палки съедали руки. У нас были страшные руки. Мы же бросили все свои вещи в начале пути, и ни у кого никакой тряпки не было, чтобы завязать эти кровоточащие раны.

Как я шла... Как раненые собаки оставляют на снегу окровавленный след, так каждый мой шаг отпечатывался. На подошвах уже ни сантиметра кожи не было. Не было кожи — была одна сплошная рана. Но мне казалось, что не очень больно — ощущение боли как-то притупилось.

... Нас подвели к вагонам — это были рудовозы. Это такие деревянные гигантские ящики для угля, а сбоку — узенькая лесенка. Но начинается эта лесенка на высоте человеческого роста, т. е. вагоны стоят на очень высоких рессорах. Какая женщина могла так поднять ногу, чтобы взобраться на эту лестницу?! Никто не мог. Не только я, но даже молодые женщины не могли. И тут конвой озверел. Стали вчетвером у двери вагона и толкали, били: "Скорей, скорей". Но когда мы ставили ногу на эту лестницу, то не было сил, чтоб поднять ногу на следующую ступеньку. И даже если нам удавалось подняться до самого верха лестницы, то уже не хватало сил, чтоб спрыгнуть внутрь вагона. Но что делать? Как-то спрыгивали. Прямо на рифленый пол рудовоза. Вагон наполнялся очень быстро. В пер-

* "Седой" — литературный псевдоним редактора "Одесских новостей" Ильи Львовича Соколовского (другой псевдоним "Вестовой"), бывшего в молодости близким другом Троцкого и родным братом его первой жены — Натальи Львовны. Мемуаристка либо не знала, либо забывала, что к моменту ареста И.Л. Соколовский был уже совсем слепым (поэтому, вероятно, его и поддерживали под руки), а упомянутая выше Б.И. Соколовская — жена "Седого" — была его спутницей во всех скитаниях, начавшихся во второй половине 1920-х гг. ссылкой в Ташкент, и в описываемом этапе также шла вместе с ним.

вый момент мы не отдавали себе отчета в том, что в этом вагоне жутко тесно, что придется ехать в нем почти месяц, что в этих вагонах нет уборных, нет параша, что если начинаются женские функции (у многих они к тому времени еще сохранились), то негде помыться. И, что самое главное, на верху каждого вагона было устроено как бы сидалище. Чуть ниже крыши было место, чтобы постелить доски. И вот на этих досках ехали конвоиры — так что все свои отправления мы должны были делать у них на глазах. У нас еще не выработалась привычка не считаться с этим, еще убивало чувство стыда, еще мучились до предела, до конца терпели. Можно ли представить это?

Большинство так ослабло, что не могло дожидаться ведра или параша — все делали под себя. И стояла ужасная вонь, грязь. Потом принесли ведра. Эти ведра мы должны были выливать через верх, а вагоны выше человеческого роста примерно на метр. Никто не мог поднять ведро на такую высоту, не на что было встать, поэтому становились на людей. Причем это не так, что вот человек встал, а другой встал ему на плечи. Уже никто не стоял — никто не мог стоять, поэтому просто ложились друг на друга. И когда кто-нибудь собирался вылить парашу, он кого-нибудь подтаскивал к тому, кто уже лежал, и клал этого человека сверху. А сам становился на этих двоих. Шаткая эта подставка из двух лежащих людей не всегда выдерживала, и поэтому часто ведро опрокидывалось не за стенку вагона, а внутрь, на нас.

Ужасно было и другое — быстро возникла вшивость. Так их много было, этих вшей, что когда вагон засыпал, люди шевелились, кипели, прямо как вода в кастрюле кипит.

В вагоне было больше 100 человек. Скамеек никаких не было. Поскольку дно было рифленным, то ни один человек не мог лечь на пол на протяжении всей дороги. Мы сидели в вагоне, как в камере: каждая из нас вдвигалась в следующую. Ноги при этом страшно затекали.

В вагоне была перегородка. За перегородку в первый же день положили умирающих. Положили мужчин в наш женский вагон в надежде на то, что мы будем за ними ухаживать. Перегородка была невысокой — два ряда сбитых досок, так что легко можно было перелезть.

В Кировоградской тюрьме сидела врач, Софья Викторовна.

С ней сидел и ее отец — священник, отец Виктор. Отец Виктор сразу же попал в наш вагон за эту перегородку. Мы с Софьей Викторовной вдвоем кормили его и других умирающих. Мы брали их пайки и пытались заставить их есть, но почти никто из них уже есть не мог.

Тогда мы выносили эти пайки конвоиру и спрашивали, можно ли раздать их другим заключенным. Если он разрешал, то мы клали пайки на крышу ведра и тот, кто хотел, брал. Хотели многие. Себе мы пайки не брали. Никогда. Ни я, ни Соня. И не потому, что мы не хотели есть, а чтобы не выглядело, будто мы помогаем больным ради этих паек.

Из тех, кто был за перегородкой, никто больше трех дней не прожил. Перегородку эту скоро разобрали.

В Кировоградской тюрьме был врачом некий Избицкий. Он работал в тюрьме на полставки. Основная его работа была в другом месте. Там он работал вместе с Соней.

Ни в дороге, ни в этапе он ничем не помог Соне и ее отцу. В вагоне была еще один врач, Микицкая Ольга; она жила в 50 км от Кировограда, она хорошо знала Избицкого, они вместе окончили институт. И по отношению к Микицкой Избицкий вел себя так же.

Первые три дня нас не кормили. Совсем. И почти не давали воды. На третий день нам сварили кашу из манной крупы. Сварили ее в бочке из-под керосина или бензина. А приносили кашу в ведрах, на которых было столько грязи, что сомнение брало — а не бывшие ли это параша.

Трое суток я не ела, но эту кашу съесть не могла. Может быть, позже, через год, скажем, я бы эту кашу и съела, но в тот момент — нет. И не только я одна. И кроме того снова возник вопрос, во что взять кашу? Приносили ее горячей. Чем есть? Как есть? Уже не было у нас подолов, не было платков, не было ничего. У меня был, правда, бюстальтер. Раздеться — значит догола раздеться на глазах у конвоиров. Я сейчас не могу вспомнить, как этот вопрос разрешался. Есть прямо из ведра вагон не мог. Возле ведра могло есть пять, ну десять человек. Да и ведра эти... Они так напоминали только что использованные параша! Это было хуже скотства, это было ужасно, ужасно. Но — ели. Если не все, но многие.

Регулярной пайки сначала не было. Выдавали хлеб, нарезанный, конечно, без всякой хлебоборезки — как получится. Мы стра-

дали не столько от голода, сколько от жажды. Воды давали страшно мало. А ведь мы ехали в начале августа по Украине в жуткую жару. Только день на двенадцатый мы доехали до Урала: ночи стали очень холодными. Но дни все равно были очень жаркие. По ночам мерзли. Прижимались друг к другу. Все-таки спали, потому что были очень измучены.

Продолжались женские функции, а помыться было совершенно негде. Мы жаловались врачу, что у нас просто раны образуются. От этого многие и умирали — от грязи умирают очень быстро.

Во время этапа мы вконец оборвались. Приехали в Усть-Каменогорск в совершенно чудовищных лохмотьях. Не было чулок, не было трико, не было полотенца. Да вообще ничего не было — ни ложки, ни кружки.

Я не помню, сколько мы ехали. Наверное, месяц. Нас ведь не все время везли. Пропускали другие эшелоны. Наши вагоны загоняли в тупики, и там мы стояли по 3-4 дня. Я насчитала в нашем составе 52 вагона. Я не уверена, что все эти 52 вагона везли заключенных. Ведь некоторые вагоны были для конвоя, некоторые — для продуктов, некоторые — для неисчислимого количества собак, для лошадей и т. д. Когда мы приехали на станцию "Защита", осталось всего 17 вагонов с заключенными. Я думаю, что люди, которые ехали в остальных вагонах, умерли. Правда, в наш вагон по пути никого не подсаляли из других вагонов. Но, возможно, это потому, что в нашем вагоне было негде лечь. Кроме того, ведь наш вагон был женским, а умирали в пути, в основном, мужчины.

Если открывание дверей и вынос трупов были редкими в начале этапа, то уже на 6-7-й день пути эти открывания стали ежедневными. Шли на станцию, кого-то вызывали, открывали двери на стороне, противоположной железнодорожной станции, и через ворота на крюках, которые открывают при разгрузке руды, выбрасывали умерших.

Эти трупы обычно складывали на близком расстоянии от рельсов, чтобы их не зацепил поезд.

Я не помню фамилий умерших, помню только Христину из нашего вагона. Она была немка, жила в Кировограде, и ее арестовали за то, что она была немка.

Когда мы подъехали к "Защите", ни один человек не мог

вылезти из вагона — не было никаких сил. И охрана не могла нас заставить. Ни ружья, ни овчарки не помогли. Мы не то что не хотели подчиниться, а просто не могли. Тогда конвоиры открыли ворота вагона, брали за руки и за ноги и выбрасывали. И ведь все это с высоты человеческого роста. Потом подогнали три грузовика и стали перевозить всех в тюрьму.

* * *

... Через некоторое время я оказалась в лагере в Караганде. Сначала доходила на общих работах, а потом одна женщина-врач спасла меня — взяла к себе в помощницы. Я поселилась в ИТР-овском бараке.

И вот однажды зимой занесло снегом барак, даже окно в крыше было залеплено снегом. Я стояла у окна, внутри. И ждала. Слышала, что лопатой соскребают снег, и вот-вот окно откроется. И когда окно открылось, через стекло я увидела ногу. Нога была в глубокой галоше. Отек этой ноги был так велик, что он свисал на галошу. Цвет кожи был страшный, желто-землистый, как бывает у трупов.

Не помню, почему, но с вечера я свою баланду не съела. На трубу, которая вела от печки, мы положили кусок железа — и вот на этом железе стояла моя баланда. Она была не горячая, но все-таки теплая. И когда я увидела эту ногу, я постучала: мол, откапывайте скорее и войдите. И вот он вошел. Я поставила ему баланду. Спросила, как всегда спрашивают при встрече в тюрьме: кто вы, откуда, в чьей бригаде, что вы делали до полустационара? Он ответил, что он из Кировоградской области, работал начальником НКВД. Я ему спокойно сказала: "Значит, я вам обязана своим пребыванием здесь?" — "Может и нет". Я спросила: "Ну как же вы, начальник НКВД, сюда попали? Как вы могли сюда попасть, за что?" И он мне рассказал, что, когда немцы стали подходить ближе, они все следственные дела передали военным частям, которые там стояли, и весь НКВД целиком пошел на фронт. Они доехали до Петровки — это в 30 км от Александрии, только с другой стороны, чем Верблюжка и Аджамка. В Петровке их окружили. Они все закопали свои партбилеты, постарались снять с себя все знаки отличия, но им удалось все-таки пробиться к нашим.

И когда они все рассказали про окружение, их спросили: "Где ваши партбилеты?" — "Закопаны". — "А, значит, они,

немцы, вас выпустили. Они вас послали”.

Дали им шпионаж, самые страшные статьи шпионажа, да еще групповой шпионаж — представляете, в той обстановке что все это значило?!..

Он выглядел страшно. Баланду, которую я ему поставила, он не доел — уже есть не хотел. Ему уже важнее было то относительное тепло, которое было в этой землянке.

Через 3-4 дня — конец. Я сама навешивала ему бирку, какую навешивают на мертвецов.